

БЕКАСОВА Е. Н.
г. Оренбург, Россия
bekasova@mail.ru

82*01
DOI 10.26170/ufv20-02-22

КРЕАТИВНОСТЬ НА ГРАНИ САКРАЛЬНОГО И ПРОФАННОГО В ДРЕВНЕРУССКОМ ТЕКСТЕ

Аннотация. В связи со становлением и развитием нового научного направления – лингвистики креатива – возникает необходимость исследования различных текстов, в том числе средневековых, где приоритет сакральности в той или иной степени сдерживал творческую инициативу книжников. Сложившаяся иерархия жанров, заимствованная древнерусской письменностью из Византии, не только определяла степень «жесткости» конфессионального текста, но и его использование в оригинальных произведениях. Однако в жанре деловой письменности устойчивые текстовые формулировки и реквизиты в большинстве случаев не препятствовали реализации разнообразного и во многом лично ориентированного содержания, что способствовало проявлению лингвокреативной деятельности, в том числе в использовании текстов Священного писания и святоотеческой литературы. Об этом свидетельствует Переписка А. Курбского и Ивана IV, где в полемическом накале авторы представили и интерпретировали ряд общественно-политических проблем и личных ценностных ориентаций, потребовавших особого употребления сакрального для подтверждения собственной правоты.

Ключевые слова: сакральные тексты, памятники древнерусской письменности, жанр, Переписка А. Курбского и Ивана IV, лингвокреативный потенциал.

BEKASOVA ELENA
Orenburg, Russia

CREATIVITY ON THE BRINK OF SACRAL AND PROFANED IN THE OLD RUSSIAN TEXT

Abstract. In connection with the formation and development of a new scientific direction – linguistics of creativity – there is a need to study vari-

ous texts, including medieval texts, where the priority of sacrality to some extent constrained the creative initiative of scribes. The established hierarchy of genres, borrowed by ancient Russian writing from Byzantium, not only determined the degree of «toughness» of the confessional text, but also its use in the original works. However, in the genre of business writing, stable textual language and props in most cases did not prevent the realization of diverse and largely personality-oriented content, which contributed to the manifestation of linguo-creative activities, including in the use of texts of the Holy Scriptures and sacred literature. This is evidenced by the Correspondence of A. Kurbsky and Ivan IV, where in the polemic heat the authors presented and interpreted a number of social and political problems and personal value orientations, which required special use of sacral to confirm their own right.

Keywords: Sacred texts, monuments of ancient Russian writing, genre, Correspondence of A. Kurbsky and Ivan IV, linguo-creative potential.

Как новое научное направление, лингвистика креатива, сосредоточившись в основном на изучении современных языковых фактов, расширяет свои границы. В частности, отмечается продуктивность исследования форм и механизмов лингвокреативной деятельности разных эпох [Рут, Цыплякова 2014]. При этом рассмотрение отдельных явлений в древнерусском языке, например, в «Повести временных лет» [Рут, Иванова 2013], только подчёркивает необходимость исследования пространства языкового креатива средневекового текста. Однако в этом случае «изучение потенциала языка в соединении с творческой инициативой говорящего в разных видах речевой деятельности» [Гридина 2012: 272] во многом затрудняется в силу онтогенеза и своеобразного «филогенеза» средневековых текстов.

Безусловно, главным препятствием реализации креатива следует признать значимость сакральных текстов в непрерывности их авторитета и образцовой неизменности, которые в определенной степени не только сдерживали творческую инициативу книжника, но и влияли на становление собственных литературных текстов и в ряде случаев определяли их особенности. Но процесс формирования конфессиональных текстов, в том числе переводных, происходил в течение десятков и даже сотен лет в условиях не только диалектной раздробленности, но и языково-

го разнообразия. При этом проблема степени воспроизводимости текста списчиком или редактором – одна из самых сложных и нерешённых, и в определённой степени нерешаемых, однако именно от этого зависит и адекватность оценивания тех или иных элементов в структуре памятника. Качество передачи протографа или архетипа во многом зависело от степени сохранности переписываемой или редактируемой рукописи, от особенностей подготовки, навыков письма и уровня языковой личности писца-книжника, традиций скриптория и авторитетности произведения. На это накладывались особенности литературного процесса средневековья: непосредственная зависимость от теологического мировоззрения; объединение литератур в родственные группы, имеющие одновременно и национальные и интернациональные признаки; незначительная спецификация индивидуального творчества и всего литературного развития. При этом древнерусская книжность входила в ареал греко-славянского православия, а «традиционно-диахронные процессы в древнерусской литературе были более устойчивыми, чем в средневековых западноевропейских литературах» [Робинсон 1980: 44]. И в этих условиях проходила деятельность древнерусского писца, редактора, автора, что осложняет определение креативности их языковой личности.

В науке существуют различные взгляды на труд древнерусского книжника – от констатации простого копирования до провозглашения свободы творчества, в связи с чем следует поставить вопрос о шкале креативности древнерусского текста. Безусловно, имелись определённые критерии, не только сдерживающие самостоятельность книжника, но и способствующие сохранению в той или иной степени качества предыдущей рукописи. Особенно это касается текстов Священного писания. Однако Л.П. Жуковская на основании анализа 550 сохранившихся списков Евангелия делает вывод о том, что «глубоко ошибочно распространённое мнение, будто бы памятники письменности, предназначенные для церкви (в том числе и Евангелие, Апостол, Псалтырь), канонизированы и что при их переписке в древности и средневековье писцы соблюдали букву переписы-

ваемого оригинала» [Жуковская 1976: 351–352]. Это подтверждается нашими исследованиями особенностей реализации праславянских по происхождению рефлексов в важнейших памятниках церковнославянского языка XI–XVII вв., теоретически постулируемых как гомогенные [Бекасова 2010; Бекасова 2016].

Кроме того, хронологически и пространственно широкие контакты определяли особое приложение «креативности» к составлению гетерохронных и гетерогенных средневековых текстов, которые по-разному проявлялись в постепенно складывающейся строгой иерархии жанров. В частности, Н.И. Толстой выстроил панхроническую и суммарную схему жанров и состава текстов в виде пирамиды, где первые шесть рубрик представлены конфессиональными текстами: «первая рубрика <конфессионально-литургическая литература> занимает самое высокое, доминирующее положение как наиболее сакральная и авторитетная по отношению к другим рубрикам и текстам. Состав текстов этой рубрики в течение столетий оставался стабильным и неизменным, а язык эволюционизировал в наименьшей степени. ... Степень сакральности текстов постепенно уменьшается с первой до шестой рубрики, что можно объяснить и функцией текстов различных жанров в церковном ритуале и жизни» [Толстой 1988: 169–170].

Жёсткая иерархия текстов сохранялась и в древнерусских рукописях, в первую очередь в памятниках церковнославянской письменности, поскольку «трансплантируя византийскую литературу, Русь трансплантировала прежде всего ее фундаментальную основу, дабы строить на этой основе свою систему жанров, свои аксиомы, касающиеся искусства и творчества» [Панченко 2000: 331]. Такая система жанров определяла и особенности так называемых «национальных» текстов, которые в отличие от нового времени были минимально индивидуализированы и «национализированы», что было связано прежде всего с вненациональной религиозной общностью, единообразием в определённом религиозно-культурном ареале просвещения и международной функцией сакральных языков. По мнению Д.С. Лихачёва, жанровый признак в литературе Древней Руси играл «боль-

шую роль, чем авторское начало», потому что «жанр имел свои традиционные особенности художественного метода», которые «вытесняли индивидуальные авторские особенности» [Лихачёв 2015: 262]. В качестве доказательств того, что «один и тот же автор способен был прибегать к разным методам изображения и к разным стилям, переходя от одного жанра к другому» [там же], Д.С. Лихачёв приводит произведения Владимира Мономаха, которые были составлены в жанре церковного поучения, летописной традиции (о походах и охотах) и эпистолярной манере (письмо к Олегу).

Получение сакрального текста «сразу как авторитетного, как образца, который обладал достоинством нормы» [Колесов 1989: 279], определяло его «давление» на все вновь составляемые или создаваемые тексты, тем более что с приходом новой религии изменялись прежние понятия и жизнь, а это перестраивало и сам язык. В частности, И.И. Срезневский, указывая на определяющее значение «развития уже не самого языка в его материальной форме, а мысли, выражающейся в языке» [Срезневский 2007: 99], утверждал, что в Киевской Руси «от самого прилива новых идей с христианством должны были измениться прежние понятия обо всём; таким образом, понятия и вся образованность народа должна сильно поколебаться и по тому самому должен был начать сильно изменяться строй языка» [Срезневский 2007: 106]. С другой стороны, текст не существовал вне координат религиозного сознания средневекового человека. Специфику такого сознания объясняет А.М. Панченко на примере древнерусского феномена старообрядчества: «Древнерусский человек в отличие от человека просветительской культуры жил и мыслил в рамках религиозного сознания. Он “окормлялся” верой как насущным хлебом» [Панченко 2005: 65]. Именно поэтому в любом тексте древнерусской письменности, не исключая памятники делового языка [Бекасова 2013: 153–154], можно встретить отсылки, цитаты или реминисценции из текстов Священного писания и другой конфессиональной литературы, в результате чего складывалась своеобразная симбиозная система не только

со своими традициями и правилами, но и креативными отступлениями.

Об этом со всей определённой свидетельствует Переписка Андрея Курбского с Иваном IV, в которой широко представлена разнообразная конфессиональная литература. Каждый из оппонентов, отстаивая собственную систему ценностей, отливал их в словесную форму, подкрепляемую непрерываемостью сакральных текстов. Для Ивана Васильевича Священное писание, агиографическая и святоотеческая литература – важнейшее доказательство своего права царствовать. Андрей Курбский в своём Первом риторически насыщенном «писаньице», где он практически исчерпал все обвинения «супротивного» царя от имени «доброхотных» воевод, пытался наставлять московского царя как священник, что вызывает ярую отповедь Ивана IV. Следует подчеркнуть, что у Курбского уже был опыт переписки с игуменом Псково-Печерского монастыря Вассианом по вопросам церкви и государства, связанным с полемикой иосифлян и нестяжателей. Более того, Курбский в качестве своего учителя называет Максима Грека.

Однако Иван IV в ответе беглому боярину не только чётко определяет и разводит роли царя и священника, чернеца и мирянина, но и доказывает греховность намерений Курбского брать на себя церковные обязанности: *«церковное предстояние не тако и играм бытие ... Играм же – сходя немощи человечестей; понеже мног народ в след своего пагубнаго умышления отторгосте, и того ради, – яко же мати детей пуцает глумления, ради младенства, и егда же совершени будут, тогда сия отвергнут <...>, того ради и аз сие сотворих, сходя к немощи их, точию дабы нас, своих государей, познали, а не вас»* [Переписка 1979: 16]. Важно подчеркнуть, что запрет играть в письменном тексте в «предстоятеля» накладывает автор, чьё «разнообразие в языке и стиле» объясняется его «актерством» [Лихачев 1979: 196], которое подтверждается многочисленными свидетельствами об участии Ивана IV в «народных обрядовых игрищах», в том числе «полуязыческого происхождения» [Шмидт 1958: 260-261]. Такой запрет выступает ещё более выразительно на фоне,

как отмечает Д.С. Лихачёв, «характерной для средневековья безликости стиля литературных произведений», когда «индивидуальный стиль писателей был развит еще очень слабо, и в этом отношении стиль произведений самого Грозного – исключение», что позволяет ему выступать «в роли “временного” человека – и царя, ядовитого, жестоко ироничного, умевшего играть роль и разыгрывать человека простого и справедливого» [Лихачев 1979: 184, 195]. Однако игр с сакральными текстами Иван Грозный не допускал и приравнивал их к крайнему, трижды греховному состоянию человека – «бесовскому злохотению».

У Курбского свой взгляд на использование сакральности. После первой «широковещательной и многшумной» грамоты царя, ответствовавшего подробно на все выдвинутые обвинения в свойственной ему неподражаемой манере, беглый боярин во Второй и Третьей «эпистолиях» сосредоточился на разборе грамот московского князя с позиций уже вошедших в него системы «аттического» красноречия и западноевропейских образцов – «*Зри, царю, с прилежанием*» [Переписка 1979: 113]. Особо Курбский критикует манеру Ивана IV использовать в своих ответах сакральные тексты: *«а наипаче так ото многих священных словес хватано, исте со многою яростию и лютостию, не строками, а ни стихами, яко есть обычай искусным и ученым, аще о чем случитъся кому будет писати, в кратких словесех многой разум замыкающе, но зело паче меры преизлишно и звяжливо, целыми книгами, паремьями, целыми посланьми*» [Переписка 1979: 101].

Действительно, у Ивана Васильевича впервые встречаются обширные извлечения из библейских и святоотеческих текстов, которые не были свойственны предшествующей древнерусской литературе. Достаточно в этом плане рассмотреть одно из самых авторитетных и выразительных литературных произведений старшего периода – «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Несмотря на то, что «Слово» выстраивалось на сопоставительном анализе текстов Ветхого и Нового Завета, чтобы показать значимость крещения Руси, тексты Священного писания лишь расцвечивали авторский текст, искусно вплетаясь в

его структуру, например: *«Лепо бе благодати и истине на новы люди въсиати. Не въливають бо, по словеси Господню, вина новааго учения благодетьна въ мехы ветхы, обетшавъши въ иудеистве, «аще ли, то просядутся меси и вино пролеется». Не могъше бо закона стена удержати, но многожды идоломъ поклонявшеся, како истинныа благодѣти удержати учение. Нъ ново учение – новы мехы, новы языки! «И обоє съблюдется»; «Како верова? Како разгорся въ любовь Христову? Како въселися въ тя разумъ выше разума земленыхъ мудрець, еже Невидимаго възлюбити и о небесныхъ подвигнутися? Како възиска Христа, како предася ему? Повѣждь намъ, рабомъ твоимъ, повѣждь, учителю нашъ! Откуда ти припахну воня Святааго Духа? Откуда испи памяти будущая жизни сладкую чашу? Откуда въкуси и виде, «яко благъ Господь?»» [Библиотека 1997: 38, 46].*

Аналогично инкрустируется текст Поучения Владимира Мономаха, который после встречи с изменниками-братьями взял Псалтырь: *«в печали разгнухъ я, и то ми ся выня: «Вскую печалуеши, душе? Вскую смущаеши мя?» и прочая. И потомъ собрах словца си любая, и складохъ по ряду, и написах. Аще вы послѣдняя не любя, а передняя приимайте» [Библиотека 1997: 456].* И далее Поучение реально выстраивается «по ряду» – следует целая подборка почти афористических текстов типа *И не будетъ грѣшника... и живи в вѣкы вѣка»; «Возвеселится праведник... Бог судяй земли»; Възвеселитесь вси... воину хвала его»,* которая заканчивается выводом о неисчерпаемости цитируемой книги – *«и прочая» [Библиотека 1997: 458].* Всё это обобщается народной мудростью *«Леность бо всему мати» [Библиотека 1997: 464].*

Иваном IV цитаты из Священного писания не вплетаются в авторский текст и не подбираются «по ряду», а тем более не оставляют практически ничего в виде «прочее». С.О. Шмидт объясняет «нагромождение плохо соединённых между собой цитат» нежеланием Грозного редактировать свои сочинения», «а ближайшие его сотрудники не рисковали вносить в эти сочинения даже стилистические поправки» [Шмидт 1958: 257]. Я.С. Лурье

практически соглашается с Курбским, считая, что в цитировании «довольно ясно ощущается усердная работа секретарей, которым, очевидно, было поручено срочно подыскать авторитетные высказывания по определенным вопросам и которые спешно подбирали более или менее подходящие куски из отцов церкви (черпая их, очевидно, из главной сокровищницы письменности XVI в. – Великих Четьих Миней)» [Лурье 1979: 226]. Вряд ли представляется правильным говорить о стилистической правке в XVI в., тем более посланий такого самовластного самодержца, как Иван IV, с другой стороны, тексты, видимо, подбирались, но не только «секретарями» такого уровня, что срочность их работы «породила ряд ляпсусов» [Лурье 1979: 226]: из этого процесса нельзя устранить самого великого князя Московского. Судя по всему, даже Курбский не только не сомневался в руке ненавистного ему государя, но и был уверен в том, что тот основательно знал конфессиональные тексты, ср.: *«Прочие же, последующие стихи умолчу, возлагающе их царьской совести твоей, ведуще тя священнаго писания искусстваго»* [Переписка 1979: 108]; *«И аще бы согласовало твое покаяние тым священным узроком, ихжеи, от священнаго писания приемлюще, приводишь, яко от Ветхаго, так и от Новаго!»* [Переписка 1979: 106].

Цитирование в текстах Ивана IV выстраивалось по типичному образцу – тезис (нередко в виде риторического вопроса или отталкивания от цитаты оппонента) и исчерпывающих доказательств, извлечённых из конфессиональных контекстов, чаще всего сцепленных друг с другом, например: «Како же не стыдишия злодеев мученики нарицати, не разсуждая, за что кто страждет? **Апостолу вопиющу:** “Аще кто незаконно мучен будет, сиречь не за веру, не венчается”; **божественному убо Златоусту и великому Афонасию во своем исповедании глаголющим:** “мучими бо суть татие, и разбойницы, и злодеи, и прелюбодее: такови убо не блажени, понеже грех ради своих мучими бысть, а не бога ради”. **Божественному апостолу Петру глаголющу:** “Лучши бо благое творя пострадади, неже злое творя”». За этим обычно следует утверждённый на цитатах вы-

вод: «Видиши ли, яко везде не похваляет злотворящих мучения? Вы же, злобесным своим обычаем подобящися ехиднину отрыганию яд изливающе, ничто же – повинения человек, и законопреступления, и време – разсуждающе, свою злолукавую измену бесовским умышлением лестию языка покрыти хотящи» [Переписка 1979: 18]. Аналогично выстраивается опровержение другого положения Первого послания Курбского: «Почто ж и учитель ми еси, душе моей и телу моему? Кто убо ты постави судию или владателя надо мною? Или ты даси ответ за душу мою в день Страшнаго суда? **Апостолу Павлу глаголющу:** “Како убо веруют без проповедающаго, и како же убо а проповедают, аще не послани будут?”, Сие убо бысть в пришествие Христово: ты же от кого послав еси? Кто ты рукополагал яко учительский сан восхита его? **Апостолу убо Иякову сие отрицающе:** “Не мнози учителя бывайте, братие, ведяще, яко вяцшии грех емлем, много согрешаем все; иже словом не согрешит, сей совершен мужиши силен обуздати и все тело <...>”». Цитата затягивается более чем на пол-листа (л. 305 об.– л. 306 об), и в какой-то степени можно согласиться, что «сама система цитирования формальна и даже примитивна» [Лурье 1979: 225], но концовка «зело паче меры преизлишнего» цитирования логически важна для доказательств незаконности взятых Курбским святительских прав: «Един есть законодавец и судия, могий спасти и погубити. Ты же кто еси, осуждая друга?» [Переписка 1979: 20-21]. Далее следует целая «анфилада» подобных контекстов, где Иван Васильевич через риторические вопросы и священные тексты подходит к выводам о различиях царской и святительской власти, о нарушениях этого равновесия в истории разрушений царств всех времён и народов, чтобы через 4 листа сделать окончательный то ли вывод, то ли приговор: «Тако же и вы, сему подобно, злобесным своим хотением, выше меры желающее славы и чести и богатства, и разорению христианскому желающее бытии». «Тако же убо и ваше хотение, еже вам на градех и на властех совладети, идеже быти, не подобает, И что от сего случиишася в Руси <...>, и какова разорения быша

от сего, сам своима беззаконныма очима видал еси» [Переписка 1979: 24].

Следует согласиться с мнением Д.С. Лихачёва, что Грозный, «как знаток приказного делопроизводства, великолепно умел подражать формам различных документов» [Лихачёв 1979: 196], при этом он ссылается на исследование С. О. Шмидта, который объясняет «подражательность языка и стиля Грозного» тем, что «из деловой переписки и постановлений, принимаемых в ответ на челобитья, Грозный усвоил, видимо, и распространенную тогда манеру ответов на письма», что особенно ярко проявляется в Первом пространном послании Курбскому [Шмидт 1958: 258-259]. Добавим, что именно деловой стандарт требовал развёрнутых ответов на все пункты «обвинения», а самым весомым доказательством правоты ответчика-царя, безусловно, стали церковные тексты, причём у Ивана Васильевича такого объёма, что в них иногда вкраплением становился авторский текст. Думается, что это тоже была определённая стратегия Ивана IV [Бекасова 2015], поскольку «причтённые» к сакральности его собственные рассуждения и доказательства становятся как бы овеянными святостью и растворёнными в ней, тем более, что царь от всех требует, чтобы его писание «по слогиам разумели» [Послания 2005: 192], а Курбскому особо вменяет: *«Сия в себе разсмотри и сам себе разтвори сия вся»* [Переписка 1979: 105].

Надо отметить, что Курбского, помимо «многочумности» и «широковещательности», настолько возмущало несоответствие текстов и приводимых Грозным фактов, что он постоянно обращается к этой теме: *«А еже потом, во епистолии твоей, в последующих, являются не токмо не согласно, но изумительно и удивления достойно и зело на обе бедра храмлюще, и хождение неблагочинно являюще внутренняго человека, наипаче же в землях твоих супостатов, иде же мужие многие обретаются, не токмо внешней философии искусны, но и во священных писаниях сильны: ово презлишне уничижаешися, ово презобильне и паче меры возносишися!»*. Об этом «изумительном» контрасте Курбский пишет и тогда, когда указывает, что не только профессиональные тексты противоречат сути, как он определяет,

«супротивного» царя, но и сами цитаты вставляются в неподобающие контексты: *«Тутю же о постелях, о телогреях и иные бещисленные, воистинну, яко бы неистовых баб басни, и так варварско, яко не токмо ученым и искусным мужем, но и простым и детем со удивлением и смехом, наипаче же в чюждую землю, иде же некоторые человецы обретаются, не токмо в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских ученые»* [Переписка 1979: 101].

Действительно, помимо извлечённых из всемирной истории примеров, Иван IV активно использует свой собственный опыт в создании ярких и эмоциональных картин противостояния «доброхотных» воевод и «супротивного» царя. Именно они воспринимаются «аттическим» вкусом Курбского как «*неистовых баб басни*», где место постелям и «иному бещисленному», недопустимому в соседстве с конфессиональными текстами, например: *«Едино воспомянути: нам бо в юности детская играюще, а князь Иван Васильевич Шуйской сedit на лавке, локтем оперишия о отца нашего постелю, ногу положиа на стул, к нам же не прикланяя не токмо яко родительски, но ниже властельски... при матери нашей у князя Ивана Шуйского была шуба мухояр зелен на куницах, да и те ветхи; и коли б то было их старина, и чем было сосуды ковати, ино лутчи шуба переменити, а в ыходке сосуды ковати. Что же о казнах дядь наших глаголати?»* [Переписка 1979: 28]. Безусловно, именно за счёт запомнившихся малолетнему Ивану Васильевичу деталей – локтя временщика на постели покойного отца, его мухояровая зелёная шуба на ветхих куницах – создаётся необыкновенно яркая картина сути злобесного хотения изменников, которая контрастирует с высоким слогом конфессиональных текстов, лишённых сиюминутной бытовой детализации ради вечной истины.

И в этом случае особенности стиля Грозного, действительно, «идут ... от его характера и являются частью его поведения», но «эмоциональность и возбудимость, резкие переходы от пышной церковнославянской речи к грубому просторечию» [Лихачев 1979: 201] обусловлены логикой развёртывания доказательств прав самовластия в ответственном «ответчивании» не столько

изменнику Курбскому и ему подобным, сколько всему Московскому государству и другим государям.

Осмелимся также предположить, что такое соединение профанного и сакрального в Посланиях Ивана IV не столько «организмическая часть его поведения», сколько возможность проявления креативности в рамках жанра. При этом следует подчеркнуть, что именно жанры деловой письменности, которые ряд исследователей настойчиво пытаются вывести за рамки литературного языка (подробнее см.: [Бекасова 2015]), предоставляют все возможности «осуществления неординарных, нестандартных решений» [Гридина 2013], а это в свою очередь стимулирует проявление индивидуального стиля. Безусловно, происходит и определённая трансформация жанра в Переписке Курбского и Ивана IV под напором откровенного обмена мыслями, касающихся общественно-политических, сословно-иерархических, религиозных и личностных «болевых» точек. Оба оппонента определяют свои послания как грамоты, которые помимо начальных и конечных формул и некоторых устойчивых структурных элементов позволяли самостоятельно регулировать их содержание и достаточно свободно выстраивать диалог. Первая грамота Курбского была самооправдательной и презентационной, поэтому реальность в ней ретушировалась или скрывалась риторическими эффектами. Сам Курбский, понимая всю условность его «грамоты», во втором и третьем своём «писаньице» пытается использовать название «ответщение» и «епистолия». Несоответствие жанра и содержания отмечается также и Иваном IV в определении грамоты Курбского как «бессоставной», а потом и «бесовской» [Переписка 1979: 31, 34]. Но царь отвечает, как и было положено, не забывая – по своему обычаю – дать всему соответствующую оценку, подкреплённую сакральными текстами: *«Писание же твое принято бысть и уразумлено внятно. Понеже бо еси положил яд аспиден под устнами своими, наполнено убо меда и сота по твоему разуму, горчайшии же пельны обретающиеся, пророку глаголющему: “Умякнуща слова их паче еляя, и та суть стрелы”»* [Переписка 1979: 15]

Иван Васильевич чётко придерживается логики судебных «отвечиваний», разбирая каждое положение посланий Курбского и делая свои собственные, тщательно продуманные выводы, свидетельствующие «о глубоко продуманном, внутренне обустроенном мирозерцании человека, который не один час и день посвятил осмыслению собственного пребывания на бренной Земле, проникновению в смысл собственной жизни» [Переверзнецов 2010: 231]. Следует подчеркнуть, что этот «ни с чем считающийся человек», смог заявить о себе как авторская личность с достаточной определённой [Лихачев 2015: 263] в жанре, близком к деловой письменности. Отметим, что именно с деловых жанров – грамот, челобитных, судебных дел и пр. – начинается расцвет креативности древнерусского текста, поскольку они характеризовались тем разнообразным, нередко личностно-индивидуальным содержанием, которое позволяло пародировать «основу основ средневекового искусства – контраст» [Панченко 2000: 209].

Таким образом, в Переписке Андрея Курбского и Ивана IV, отразившей актуальные проблемы русского общества через призму диаметрально противоположных интенций и ценностных ориентиров оппонентов, не только расширились рамки заявленного жанра грамоты и «отвещения», но и реализовался накопленный потенциал креативной деятельности, в том числе и в соединении сакрального и профанного. И если для Курбского сакральность становится удобной формой нравоучения «супротивного» царя от имени «доброхотного» боярина, позволяющая в риторической образности уйти от ненужной для него реальности и усилить собственную значимость, то Иван IV конфессиональные тексты использует как авторитетную доказательную базу для утверждения выстраиваемого им самодержавия, что обуславливает креативность соединения сакрального и профанного.

Литература

Бекасова Е.Н. А К вопросу о статусе деловой письменности в Древней Руси // Юридическая лексика русского языка XI – XVII веков: материалы к словарю-справочнику. Вып. 2. – Саранск, 2015. – С.6-13.

Бекасова Е.Н. О коммуникативных стратегиях Ивана Грозного в послании в Кирилло-Белозерский монастырь // Уральский филологический вестник. Вып. 4 // Материалы Всероссийского семинара с Международным участием «Психолингвистика в образовании и аспекты изучения лингвокреативных способностей». 27 ноября 2015 г. / Гл. ред. проф. Т.А. Гридина. – Екатеринбург, 2015. С. 5-18.

Бекасова Е.Н. Генетический фон древнерусского текста: монография. – Оренбург, 2010.

Бекасова Е.Н. Механизмы гетерогенной организации системы русского языка (на материале рефлексов праславянских сочетаний): монография. – Вгпо, 2016.

Бекасова Е.Н., Москальчук Г.Г., Прокофьева В.Ю. Векторы интерпретации текста: Структуры, Смыслы, генезис: Монография. – М., 2013.

Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексева, Н.В. Поньрко. – СПб., 1997. – Т. 1: XI–XII века.

Гридина Т.А. “Делать из мухи слона”: ассоциативная проекция игрового слова в художественном тексте // Лингвистика креатива-2 / Под общей редакцией проф. Т.А. Гридиной. – Екатеринбург, 2012. С. 272-288.

Гридина Т.А. К истокам вербальной креативности: творческие эвристики детской речи // Лингвистика креатива-1: коллективная моногр. / под общей ред. проф. Т.А. Гридиной. 2-е изд. – Екатеринбург, 2013. С. 5-58.

Жуковская Л.П. Текстология и язык древнейших славянских памятников. – М., 1976.

Колесов В.В. Древнерусский литературный язык. – Л., 1989.

Лихачев Д.С. Избранные труды по русской и мировой культуре. – 2-е изд., перераб. и доп. / сост. и науч. ред. А. С. Запесоцкий. – СПб., 2015.

Лихачев Д.С. Стиль произведений Грозного и стиль произведений Курбского // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Подг. текстов Я.С. Лурье и Ю.Д. Рыков. – Л., 1979. – С. 183-213.

Лурье Я.С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной мысли Древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Подг. текстов Я.С. Лурье и Ю.Д. Рыков. – Л., 1979. – С. 214-249.

Панченко А.М. О русской истории и культуре. – СПб., 2000.

Панченко А.М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. – СПб., 2008.

- Перевезенцев С.В.* Грозный царь: известный и неведомый... Очерк-размышление // Наш современник, 2010, – № 4. – С. 217-243.
- Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским* / Подг. текстов Я.С. Лурье и Ю.Д. Рыков, отв. ред. Д.С. Лихачёв. – Л., 1979.
- Послания Ивана Грозного* / Подг. текста Д.С. Лихачёва и Я.С. Лурье, под ред. В.П. Андриановой-Перетц. – СПб., 2005.
- Робинсон А.Н.* Литература Древней Руси в литературном процессе Средневековья (XI–XIII вв.). – М., 1980.
- Рут М.Э., Иванова Е.Н.* Языковая игра в дискурсе языковой личности XVIII–XIX вв. // К истокам вербальной креативности: творческие эвристики детской речи // Лингвистика креатива-1: Коллективная моногр. / под общей ред. проф. Т.А. Гридиной. 2-е изд. – Екатеринбург, 2013. – С. 78-86.
- Рут М.Э., Цыплякова К.О.* Сравнительная характеристика особенностей языковой игры в журнальной публицистике XIX и XX веков // Лингвистика креатива-3: коллективная моногр. / Под общей ред. проф. Т.А. Гридиной. – Екатеринбург, 2014. – С. 178-207.
- Срезневский И. И.* Мысли об истории русского языка. Изд-е 3-е стереотипное. – М., 2007. (История языков народов Европы).
- Толстой Н.И.* История и структура славянских литературных языков. – М., 1988.
- Шмидт С.О.* Заметки о языке Ивана Грозного // Труды Отдела древнерусской литературы / Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Д.С. Лихачев. – М.; Л.: 1958. – Т. 15: К Четвертому международному конгрессу славистов. – С. 257-265.

REFERENCES

- Bekasova E.N. A K voprosu o statuse delovoj pis'mennosti v Drevnej Rusi // Yuridicheskaya leksika russkogo yazyka XI – XVII vekov: materialy k slovarju-spravochniku. Vyp. 2 /Otv. red. – Saransk, 2015. – S. 6–13.
- Bekasova E.N. O kommunikativnyh strategiyah Ivana Groznogo v poslanii v kirillo-Belozerskij monastyr' // Ural'skij filologicheskij vestnik. Vyp. 4 // Materialy Vserossijskogo seminaru s Mezhdunarodnym uchastiem «Psiholingvistika v obrazovanii i aspekty izucheniya lingvokreativnyh sposobnostej» 27 noyabrya 2015 g. / Gl. red. prof. T.A. Gridina. – Ekaterinburg, 2015. – S. 5-18.
- Bekasova E.N. Geneticheskij fon drevnerusskogo teksta: monografiya. – Orenburg, 2010.

Bekasova E.N. *Mekhanizmy geterogennoj organizacii sistemy russkogo yazyka (na materiale refleksov praslavyanskih sochetanij): monografiya.* – Brno, 2016.

Bekasova E.N., Moskal'chuk G.G., Prokof'eva V.Yu. *Vektory interpretacii teksta: Struktury, Smysly, genesis: Monografiya.* – M., 2013.

Biblioteka literatury Drevnej Rusi / RAN. IRLI; Pod red. D.S. Lihacheva, L.A. Dmitrieva, A.A. Alekseeva, N.V. Ponyrko. – SPb., 1997. – Т. 1: XI–XII veka.

Gridina T.A. “Delat' iz muhi slona”: associativnaya proek-ciya igrovogo slova v hudozhestvennom tekste // *Lingvistika kreativa: Kollektivnaya monogr. / Otv. red. T.A. Gridinoj.* – Ekaterinburg, 2012. – S. 272-288.

Gridina T.A. K istokam verbal'noj kreativnosti: tvorche-skie evristiki detskoj rechi // *Lingvistika kreativa-1: Kollektivnaya monogr. / pod obshchej red. prof. T.A. Gridinoj.* 2-e izd. – Ekaterinburg, 2013. – S. 5-58.

Zhukovskaya L.P. *Tekstologiya i yazyk drevnejshih slavyanskih pamyatnikov.* – M., 1976.

Kolesov V.V. *Drevnerusskij literaturnyj yazyk.* – L., 1989.

Lihachev D.S. *Izbrannye trudy po russkoj i mirovoj kul'ture.* – 2-e izd., pererab. i dop. / sost. i nauch. red. A. S. Zapesockij. – SPb., 2015.

Lihachev D.S. Stil' proizvedenij Groznogo i stil' proizvedenij Kurbskogo // *Perepiska Ivana Groznogo s Andreem Kurbskim / Podg. tekstov Ya.S. Lur'e i Yu.D. Rykov.* – L., 1979. – S. 183-213.

Lur'e Ya.S. *Perepiska Ivana Groznogo s Kurbskim v obshchestvennoj mysli Drevnej Rusi // Perepiska Ivana Groznogo s Andreem Kurbskim / Podg. tekstov Ya.S. Lur'e i Yu.D. Rykov.* – L., 1979. – S. 214-249.

Panchenko A. M. *O russkoj istorii i kul'ture.* – SPb., 2000.

Panchenko A. M. *Ya emigriroval v Drevnyuyu Rus'.* – SPb., 2008.

Perevezencev S.V. Groznoj car': izvestnyj i nevedomyj... *Ocherk-razmyshlenie // Nash sovremennik, 2010, – № 4. – S. 217-243.*

Perepiska Ivana Groznogo s Andreem Kurbskim / Podg. tekstov Ya.S. Lur'e i Yu.D. Rykov, otv. red. D.S. Lihachyov. – L., 1979.

Poslaniya Ivana Groznogo / Podg. Teksta D.S. Lihachyova i Ya.S. Lur'e, pod red. V.P. Andrianovoj-Peretc. – SPb., 2005.

Robinson A.N. *Literatura Drevnej Rusi v literaturnom processe Srednevekov'ya (XI–XIII vv.).* – M., 1980.

Rut M.E., Ivanova E.N. *Yazykovaya igra v diskurse yazykovoj lichnosti XVIII-XIX vv. // K istokam verbal'noj kreativnosti: tvorcheskie evristiki detskoj rechi // Lingvistika kreativa-1: Kollektivnaya monogr. / pod obshchej red. prof. T.A. Gridinoj.* 2-e izd. – Ekaterinburg, 2013. – S. 78-86.

Rut M.E., Cyplyakova K.O. Sravnitel'naya harakteristika osobennostej yazykovoј igry v zhurnal'noj publicistike XIX i XX vekov // Lingvistika kreativa-3: Kollektivnaya mo-nogr. / pod obshcheј red. prof. T.A. Gridinoј. – Ekaterinburg, 2014. – S. 178-207.

Sreznevskij I. I. Mysli ob istorii russkogo yazyka. Izd-e 3-e stereotipnoe. – M., 2007. (Istoriya yazykov narodov Evropy).

Tolstoj N.I. Istoriya i struktura slavyanskikh literaturnyh yazykov. – M., 1988.

Shmidt S.O. Zametki o yazyke Ivana Groznogo // Trudy Otdela drevnerusskoј literatury / Akademiya nauk SSSR. Institut russkoј literatury (Pushkinskij Dom); Otv. red. D.S. Lihachev. — M.; L.: 1958. – T. 15: K Chetvertomu mezhdunarodnomu kon-gressu slavistov. – S. 257-265.

©Бекасова Е.Н., 2020

Данные об авторе

Бекасова Елена Николаевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка. Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова (Оренбург, Россия)

Адрес: 460014, Россия, г. Оренбург, ул. Советская, 19.

E-mail: bekasova@mail.ru

Author's information

Bekasova Elena Nikolaevna – Doctor of Philology, Professor of the Russian Language Department. Orenburg State Pedagogical Institute. V.P. Chkalova (Orenburg, Russia)